

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФА

Н.И. Журавлева

*Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина*

Статья посвящена проблеме мифического восприятия истории. Переоценка советской эпохи и ее места в историческом процессе не приводит к демифологизации представлений о ней.

Ключевые слова: миф, демифологизация, история, время, советская культура.

SOVIET HISTORY: THE TRANSFORMATION OF MYTH

Article is devoted to the mythical perception of history. Reassessment of the Soviet era and its place in the historical process does not lead to demythologizing of it.

Keywords: myth, demythologization, history, time, Soviet culture.

История является одним из наиболее действенных средств формирования национальной идентичности. Историческое прошлое определяет отношение к настоящему, а настоящее задает восприятие прошлого и потому, преподносимая как объективный процесс, история с неизбежностью будет переосмысляться и переписываться. Но для того, чтобы историческое знание обрело идеологическую силу, история должна стать мифом. Рассуждая о мифах истории, нужно помнить, что миф не есть недостоверное знание, хотя, разумеется, оно может быть и недостоверным. Специфика мифа проявляется не в непосредственном содержании и тем более истинности или ложности какого-либо представления, а в организации восприятия исторического события. Такое восприятие предполагает ценностное отношение ко времени, чем, собственно, история и является, но не исчерпывается этим.

Н.И. Журавлева, УрФУ. Советская история: трансформация мифа

М. Элиаде, подчеркивая способность мифического времени к регенерации, писал: «время негомогенно: оно является субъектом периодических разрывов, которые разделяют его на «мирское» и «священное» время, причем последнее бесконечно обратимо, в том смысле, что оно повторяет само себя до бесконечности, не переставая быть одним и тем же временем» [8; 31]. А это значит, что мифическое событие, произошедшее некогда, происходит всегда, прошлое живет в настоящем. Переживание прошлого как актуального и лично значимого событийного ряда является непреложным условием для развития «исторического чувства».

Этот аспект восприятия времени особенно эффективно применяется в целях «формирования национальной памяти», для чего в ряде «постсоветских» государств, включая Россию, были образованы соответствующие институты, само название которых, словно проговариваясь, указывает на их манипулятивный характер. Манипуляция здесь двоякая — и с историей, и с сознанием. Первое предполагает отбор и интерпретацию исторических событий, второе — формирование на их основе определенных чувств и умонастроений. Все это было бы невозможным без придания ценностного статуса историческому прошлому и его мифического переживания как настоящего, т.е. вечного. Именно такое, живое и эмоциональное, подлинно мифическое чувство «исторической справедливости» делает убедительными межэтнические и межгосударственные претензии, основанные на событиях, в которых сегодняшние поколения не были ни участниками, ни очевидцами, ни даже современниками. Посредством мифического восприятия времени формируются этические ориентиры, чувство патриотизма и «исторической вины», словно первородный грех, лежащей на поколениях и требующей покаяния не за совершенное лично, а за содеянное весьма условными дедами и прадедами. Акт покаяния представляется необходимым средством для преодоления трагического разрыва времени и восстановления его правильного течения.

Актуальное на протяжении всего постсоветского времени разоблачение мифов советской истории, предпринимаемое в СМИ и публицистике, как известно, заключается в том, чтобы

представить ее сакральные события в их подлинном, совсем негероическом виде, а ее мнимых героев изобличить и развенчать. Но «разрушители мифов» тем самым по-прежнему творят «миф истории», истории как процесса несущего ценностный смысл и имеющего провиденциальную направленность. Апелляция к некоему «суду времени», способному вынести прошлому окончательный приговор, предполагает, что время, словно к конечной цели стремилось к тому настоящему, от лица которого и вершат свой суд над историей владеющие абсолютной истиной ведущие. То, что такие исторические расследования зачастую оформлены как поиск наиболее убедительной версии произошедшего и все гипотезы равно представлены и исследованы — всего лишь закон жанра, провоцирующего у зрителя (слушателя, читателя) интерес и желание разгадать увлекательную, благодаря своей запутанности, загадку. Очевидно, что таким способом осуществляется вовсе не демифологизация истории, так происходит замена одной ценностной парадигмы, конструирующей прочтение отечественной истории, на другую. Впрочем, их разительное отличие друг от друга очевидно лишь при первом приближении.

Ничего необычного в происходящем, с точки зрения историко-культурного понимания проблемы, нет. Сложность ситуации и ее несомненная травматичность усугубляются тем, что происходит такая смена ценностных ориентиров дважды в течении одного столетия, т.е. практически при жизни одного поколения. Л. Горалик замечает по этому поводу: «В период советской власти житель страны должен был селективным образом отказаться от ее прошлого, считать себя обитателем новорожденного мира, наследующего «царской России» лишь в некоторых, тщательно отобранных аспектах, но в целом отвергающего «позорное прошлое». В период постсоветский задача стала еще сложнее: позорное царское прошлое надо было немедленно переосмыслить и восстановить, зато последовавший за ним период оказывался «вырванными годами», сплошным унижительным позором, с которым надо было как-то соотнести себя, историю собственной семьи, наконец, минимальные представления о будущем» [4; 14].

Болезненность этого «соотнесения», да и сама его необходимость снова заставляют вспомнить о том, что единство истории и личности обретается только посредством мифа. «Из наличной действительности мы выделяем ту ее сферу, которая интимно чувствуется субъектом, которая есть сфера подлинно жизненного взаимодействия субъекта и объекта...» [5; 73] — подчеркивает А. Ф. Лосев, определяя его сущность. Переосмысление недавней истории страны касается не только исторической науки или политики, но затрагивает интимно-личностное переживание мира, вызывает не только научный интерес или отвлеченное любопытство, но напрямую связано с проблемой самоидентичности.

Но стоит заметить, что история, в этом случае, и переживается как миф, и сконструирована как миф. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что обе ее «версии» — советская и постсоветская, конструируются по одной схеме и отличаются немногим. Все дело лишь в точке отсчета, коей становится наличная политическая ситуация, относительно которой передвигается оценочная шкала. И дело здесь не только в специфической «инверсионной» логике, когда исторические изменения непременно приводят к изменению оценок на прямо противоположные — добро оборачивается злом, а зло — добром. Очевидно, что тут проявляется и более универсальная мифологическая конструкция. В таком представлении отечественная история, и особенно процесс становления государства, аналогичны процессу космогенеза. В наиболее ранние, «младенческие» времена, добро и зло еще не расчленены, и проявляются ситуативно. По мере дальнейшего оформления мира, добро и зло не только разводятся, но противопоставляются друг другу, что приводит их к борьбе и решающей битве, в результате которой победившее добро устанавливает окончательный космический порядок, нуждающийся отныне лишь в усилиях, направленных на его поддержание. При этом злу отводится свое место, оно сдерживается, но до конца не устраняется. Эта схема характерна для большинства развитых мифологий. Ее устойчивость и востребованность в современных социально-мифологических представлениях вполне объяснима. Суть мифа — пишет Р. Барт — заключается в том,

что он превращает историю в природу... Причина, которая побуждает порождать мифическое сообщение, полностью эксплицитна, она тотчас застывает как нечто «естественное» и воспринимается тогда не как внутреннее побуждение, а как объективное основание» [2; 96]. За этим кроется стремление видеть наличную ситуацию как наиболее естественную, законную (должную) и правильную, а, следовательно, требующую консервации — стремление, отражающее сокровенное чаяние любой власти, но и, как представляется, являющееся необходимым условием для сохранения стабильности культуры и ее самоидентификации. Придание ценностного статуса является способом закрепить наличный культурный опыт, и миф делает это, натурализируя его, — объявляя единственно верным и самоочевидным. Объективная историческая победа добра не позволяет усомниться в ценностных основаниях существующей культуры. А это значит, что история — это наррация мифологизированного времени, вбирающего в себя не просто цепь последовательных событий, но несущего в себе их провиденциальное назначение.

Прочтение истории по-советски основано на марксистском формационном подходе, содержащем идею объективизма и прогресса. Отсюда все уже хорошо описанные особенности советского восприятия времени. «Долгая эволюция вела к тому, чтобы из питекантропа сквозь ряды рабов и крепостных пробился простой советский человек с микроскопом в руках. Пионер вступал в жизнь, сознавая уникальность своего положения. Он знал, что его родина — венец творения. История существовала, чтобы наступило «сейчас». Сам пионер был частью этой эволюционной лестницы: октябренок — пионер — комсомолец — коммунист. Путь неизбежный, как старение» [3; 625]. Ирония Вайля и Гениса, конечно, не бесосновательна. Исторический процесс, в таком его понимании, — это не только эволюция, но и провозвестие. Это наглядно демонстрируют сюжеты комедийных советских фильмов: студент, засыпая на лекции, пионер, «шагающий с крыши», попадают в разные исторические эпохи и принимают участие в классовой борьбе. Советский человек — тот, ради кого сражались римские рабы, средневековые крестьяне и революци-

онные рабочие. Но это позволяет увидеть, что отношение к прошлому в советской культуре двояко, и Л. Горалик особо подчеркивает один его аспект. Отказ от прошлого, стремление начать историю с чистого листа, разрушив старый мир до основания, обычен для революционно обновленных эпох. Ничего уникального в советском пренебрежительном отрицании «буржуазного прошлого» нет, и в этом смысле презируемый «буржуй» ничем не отличается от «совка». Утверждение новой ценностной системы всегда происходит посредством отвержения старой. Но вместе с этим, в советской культуре возникает ощущение законного наследования прошлому. Встраивание в вертикаль истории происходит не только через эволюцию форм классовой борьбы, но и через приобщение к общечеловеческому культурному опыту. Последнее было особенно актуальным в позднесоветский период, когда стало принято рассуждать об «общечеловеческих ценностях», воплощающихся прежде всего в искусстве. Нужно было лишь осуществить отбор соответствующих произведений и дать им правильную интерпретацию, что казалось вполне уместным и оправданным по отношению к унаследованному со стороны его единственного и добросовестного наследника. Таким образом, отринувший «позорное прошлое», советский человек получил в наследство не фамильные ценности, а сокровища мировой культуры, отделенные от пустой породы стараниями критиков и цензоров, традиционную генеалогию заменил культурно-исторический процесс, а искусство стало средством освоения и иного пространства, и иного времени.

Произошедшая смена социального строя или, как теперь принято выражаться, режима, привела к тому, что статус самоочевидной, объективной реальности закономерно приобрела другая схема исторического развития. История, в постсоветское время, мыслится неким объективным и позитивным процессом, из которого Россия трагически выпала. «Я воспринимаю то, что произошло с этой страной в результате Октябрьской революции 17 года как выход из времени, из истории и из жизни ...» [6; 71] — говорил М.К. Мамадашвили 1990 году в интервью для французского радио. Преодоление советского, в этом случае, есть возвращение к подлин-

ной истории и восстановление прерванной традиции.

За прошедшие десятилетия позднеперестроечный энтузиазм, когда казалось, что страна опять стоит на пороге светлого будущего, явно поостыл. Однозначность и ясность полярных позиций утрачивается. Новейшая ситуация усложняется тем, что оценочная шкала снова сдвигается, причем такой «сдвиг» инициирован властью, которая теперь стремится дистанцироваться не столько от советского прошлого, сколько от «хаоса девяностых» (об этом свидетельствует речь Путина на форуме сторонников партии «Единая Россия» в ноябре 2007г.). Это психологически понятно — свидетелей сталинских репрессий все меньше, а девяностые стали восприниматься как годы унижения и бессилия некогда «великой державы». Но такая дистанцированная позиция не кажется убедительной в силу своей очевидной двусмысленности — девяностые и нулевые связывает преемственность власти и отсутствие каких-либо революционных разрывов и трансформаций. Вместе с этим критика советской культуры, по-прежнему, очень востребованная и не всегда рационально обоснованная, наталкивается на еще одно проблематизирующее обстоятельство. Если в начале девяностых советское противопоставлялось некому, для большинства граждан рушащейся страны умоуязвимому, должному и одновременно естественному социальному миропорядку, воплотившемуся в западных демократиях, то по прошествии двух десятилетий советское прошлое может сопоставляться с уже реализовавшимся российским настоящим. Парадоксальность, как правило, не эксплицируемая, проявляется в том, что советская культура критикуется посредством ценностных установок, присущих в большей степени именно ей, а не российской современности, но при этом как бы от лица последней, выступающей в роли носительницы все тех же естественных, и в силу этого безусловных, культурных ценностей.

Советское культурное наследие, становясь объектом внимания в современной художественной критике и публицистике, приобретает уже знакомую неоднозначность, с одной стороны — его клеймят позором, но с другой, в нем снова пытаются угадать некое, тающееся, словно крупницы золота в

тоннах пустой породы, содержание, имеющее общечеловеческое звучание. Последнее как раз и служит цели восстановления исторической преемственности, но лежащей уже не в плоскости политики и идеологии, а в сфере духа. Поиск в советском искусстве, неоцененных и недооцененных тогда по понятным теперь причинам, произведений, продиктован, конечно, не стремлением дать им широкое признание в актуальной культуре — это было бы невозможно. Он направляется желанием увидеть в них некое провозвестие и основание для подлинных гуманистических ценностей, восторжествовавших в настоящем. Так, например, показ на канале «Культура» трех фильмов, снятых в конце 60-х годов, объединяло название «Несбывшиеся шестидесятые» [7]. Разъяснительное «если бы», предваряющее просмотр, почему-то полностью игнорирует очевидное несовпадение смыслов, растворенных в этих фильмах, с доминирующими в современной культуре ценностями, как декларируемыми, так и соответствующими повседневному опыту многих россиян. Но в результате таких поисков получился совсем не короткий почетный список тех, кто «развалил Советский Союз» — диссиденты, правозащитники, художники — неконформисты, философы, поэты, писатели, режиссеры, стилисты, фарцовщики, женщины со вкусом и т.д., и поименно. А это позволяет обратиться к еще одной очевидной проблеме.

Сохранение в актуальной культуре огромного пласта созданных в советский период произведений, прежде всего кинематографа и музыки (эстрадной песни), требует какого-то оправдания. Но так как их художественная ценность по-прежнему определяется вне-эстетическими критериями, вызывающие «народную любовь» фильмы характеризуются как антисоветские. Антисоветскими объявлены «Веселые ребята» Александрова (мюзикл!), «Бриллиантовая рука» Гайдая, «Калина красная» Шукшина, «Летят журавли» Калотозова и многое, многое другое. Поиск подтекстов, аллюзий и скрытых смыслов, позволяющих это обосновать, очевидно не вызывает труда, так как представляет собою навык отработанный и востребованный еще в рамках советской идеологии. Актеры и певцы, состоявшие в советские времена, в журна-

листной и, зачастую, собственной подаче, предстают если не антисоветчиками, то уж точно «несоветскими» и обязательно гонимыми коммунистической властью. Эта, своего рода, разъяснительная работа необходима, так как благодаря ей снимается противоречие между положительным восприятием «советской художественной продукции» и принадлежностью ее к «постыдному прошлому».

Но одного лишь перистолкования для создания новой, обладающей самоочевидностью мифа, картины истории мало, ее нужно написать заново, полномасштабно и в тоже время с большим вниманием к деталям. Давно переписаны учебники истории, как в России, так и в других постсоветских государствах, но превращение сухого исторического факта в живой, полнокровный миф происходит чаще всего, благодаря суггестивным возможностям искусства и особенно кино. Поэтому постепенно создается новая киноверсия советской истории, позволяющая оценивать ее правильно, да и просто знакомящая юное поколение с бытовыми особенностями уже совсем неизвестного им времени и пробуждающая ностальгические воспоминания у не только родившихся, но и живших в СССР. Последнее, конечно, можно приписать невинной моде на ретро, но и здесь великая сила искусства заставляет зрителя предпочесть художественную реальность реальности документального свидетельства. Так устойчивый штамп современного масскульта — утверждение, что в Советском Союзе носили лишь серую одежду, нашел свое отражение в мюзикле «Стиляги» (режиссер В.Тодоровский, 2008 г.), ставшим для юных россиян безусловным подтверждением этого. Но более других в художественной реконструкции нуждаются сакральные события советского прошлого — несомненно, это тема революции и тема Великой отечественной войны. И если в первом случае задача разрешается очень просто — надо лишь поменять оценки на прямо противоположные, то второй требует более сложной работы по переосмыслению. Такое переосмысление, конечно, происходило всегда. Обращаясь к теме войны, поколения (времена) выговаривают себя, свое мироощущение, свой опыт. Так фильмы 60-х открывают экзистенциальный смысл утраты. Смерть на войне, даже не

всегда героическая, это внезапный конец целого мира, ценного просто в силу своей единственности — мира, сосредоточенного в одном, только одном человеке, любившем, мечтавшем и вот только что еще таким живым. Самоочевидная мысль: война — это преступление против жизни, обретает новую глубину. Эта щемящая нота, наверно, задала тон большинству снятых позже фильмов, не достигших, возможно ее высоты, но посвященных тому же. За полвека от начала войны смещались смысловые акценты и появлялись новые сюжеты, казалось бы, в советском кино было все — подвиг советского народа, интеллектуальная и рискованная работа разведчика, ужас смерти и, приближенный по своей предельности к религиозному, нравственный опыт, масштабные эпопеи, и даже лихие, почти водевильные приключения [2; 15]. Но современные кинематографисты, конечно, отыскивали ту правду о войне, которую оно все-таки утаило. Разумеется, прямой инверсии смыслов, в этом случае не произошло, но стремление разоблачить антинародную советскую власть стало главной художественной задачей не одного российского режиссера. Циничная и зловещая власть бросила в мясорубку войны свой народ, победивший вопреки ее преступным просчетам, задавивший врага числом, а не умением. Подлинные герои войны, как правило, маргиналы — бывшие уголовники, «деклассированные элементы», убежденные антикоммунисты и люди, приобщенные в силу каких-то особенностей биографии, к западной культуре, и это не случайно, а потому, что только не испорченный коммунистической идеологией человек может принимать неожиданные и смелые решения. «Демифологизация» прошлого приобретает порой весьма причудливую форму — так, комментируя сюжет своего скандального фильма «Сволочи» (2006 г.) А. Атанесян, согласился, что этого не было, «но могло бы быть». Абсурдный, с точки зрения здравого смысла, аргумент режиссера вполне понятен с позиции мифо-логики — он исходит из самой сути вещей, а не из каких-то там документов и фактов. В этой части новое российское кино не отличается от уличенных во лжи советских фильмов, ведь при решении одной и той же задачи должен получиться одинаковый результат.

Массовая культура упрощает прошлое, но вместе с тем его мистифицирует, ее занимают тайные знаки, предсказания, шпионы, злодеи, любовники и любовницы — именно они определяют ход истории. Такая интерпретация исторических событий проникает даже в школьные учебники и уж тем более она широко представлена в СМИ.

СМИ играют ведущую роль в формировании исторической памяти. Здесь представлен широкий спектр средств от парадокментального и художественного кино, различных ток-шоу до самой подачи информации. Последнее заслуживает особого внимания. Ролан Барт писал: «современный миф дискретен: он высказывается не в больших повествовательных формах, а лишь в виде дискурсов, это не более чем фразеология, набор фраз, стереотипов; миф как таковой исчезает, зато остается еще более коварное «мифическое».

Советская пропагандистская фразеология стала предметом для критического анализа и иронического отношения в девяностые годы, а между тем уже сформировался устойчивый набор «постсоветских» штампов, при помощи которых описывается советское прошлое. Многие журналистские приемы словно перекочевали в настоящее время со страниц советских газет. Таким широко применяемым приемом, позволяющим придать положительную или отрицательную окраску событию, было использование коннотативных означающих. При этом иностранные слова, как правило, воспринимались негативно, так при заключении соглашения между СССР и дружественными странами использовалось слово «союз», а между враждебными, капиталистическими — «альянс», уместным было и более прозрачное противопоставление — «договор» и «сговор». Советские представители наносили «визиты», а лидеры недружественных государств совершали «вояжи» и «турне». Очевидно, что использование иностранных слов с этой целью больше не актуально, наоборот, наличие в словарном запасе новых заимствованных терминов стало признаком образованности и цивилизованности, что, в прочем, в России случалось нередко. Вместе с тем выйти из под власти устойчивых ассоциативных смыслов не всегда получается, и в этом случае производится не перекодировка

смысла, а своего рода переименование.

Несмотря на популярные в начале 90-х сетования на «усталость от революций», когда прочно связанный с марксизмом концепт «революция» противопоставлялся нормальному, естественно ведущему к процветанию эволюционному процессу, предполагающему непрерывность культурной традиции, «революция» все же сохранила за собой сугубо положительные коннотации. Поэтому устойчивым клише в современной журналистике и публицистике стало выражение «октябрьский переворот», заменившее собою советское «Великая октябрьская социалистическая революция». Предпочтение первого понятно — «переворот» и умаляет масштаб события, и указывает на его незаконность. Переименование, в этом случае, подобно развенчанию, так отправная точка советской истории утрачивает сакральный статус. Несомненно, называть события осени 1917 г. «переворотом» стали еще их современники, но вряд ли и они руководствовались сугубо рациональной, содержательной оценкой понятия. В буквальном смысле революция — это и есть переворот, но более масштабный, резкий и ведущий к радикальному качественному обновлению ситуации. Тем не менее, эти, казалось бы лежащие на поверхности смыслы, совсем не обязательно учитываются при оценке того или иного изменения, особенно если речь идет о политической сфере. То, что 1917г. в России произошла смена политической системы, кажется недостаточным для того, чтобы счесть эти преобразования революционными, тогда как пресловутые «цветные революции», приводившие лишь к смене руководства страны, даже не рассматриваются в ином качестве. Стремление объявить все происходящие изменения «революционными», до сих пор характерно для современного медийного дискурса. Очевидно, что это происходит потому, что само слово «революция», ставшее базовым символом нововременной культуры и прогрессистского сознания, по-прежнему сохраняет свою позитивную окраску. Революция как резкое изменение, скачек в развитии, абсолютная новация все еще воспринимается как некое безусловное благо, и декларируемая ориентация страны на модернизацию в полной мере способствует этому.

Но кроме того, политическая революция и теперь воспринимается как результат спонтанного народного волеизъявления и вполне сопрягается с утвердившимися ценностями демократии. Эта установка обнаруживается в сохранившейся тенденции, называть абсолютно все «позитивные» политические изменения революцией, а «негативные» — переворотом, беспорядками, путчем. При этом позитивность или негативность исторических событий определяется, разумеется, наличной политической ситуацией и властью, преподносящейся как самая прогрессивная, народная и поэтому легитимная, т.е. обладающая всеми коннотациями революционности.

В то же время большинство из объявленных революциями социальных преобразований последнего времени опирается на уже упомянутую культурную стратегию — объявить себя поборником неких истинных духовных ценностей, утраченных в предшествующий исторический период. Так перестройка в СССР начиналась со стремления вернуться к подлинному «ленинизму», затем к «марксизму» и лишь потом к истинным демократическим ценностям, причудливо воплотившимся в монархическом прошлом страны. Новые «революционеры» устремились в храмы. Заявить об атеистическом мировоззрении не отважится теперь, пожалуй, ни один публичный человек — ведь это означало бы отказаться от всей мировой культуры, или хотя бы от нравственных основ культуры отечественной. Не рискуют прослыть атеистами даже современные российские коммунисты. Так революционность и традиционализм ни сколько не противоречат друг другу в современном политическом дискурсе, хотя предполагают разные модели времени — с разрывами или без них. Впрочем, для мифа, существующего вне законов формальной логики, это как раз безразлично.

Усложнение представления о внутренних закономерностях исторического процесса связано со все большей популярностью теорий, наталкивающих на мысль об отсутствии исторического провиденциализма. Базовая линейная мифологема все больше испытывает конкуренцию со стороны других, тоже не слишком новых, но в современной ситуации более актуальных представлений. Если нет двух антагонисти-

ческих политических систем, а проблемы в международных отношениях по-прежнему существуют, если Россия встала на верный исторический путь, но «нормальной страной» так и не стала, значит, логика истории другая и борьба добра со злом разворачивается не в линейной плоскости. На смену теории классовой борьбы и прогрессистскому убеждению, что в историческом споре всегда выигрывает лучшее и передовое, воплотившееся теперь в образе победившего капитализма, приходит геополитика и конспирология.

Но ответ на актуальный и болезненный для России вопрос «кто виноват?» также не однозначен. Здесь обнаруживаются две вполне традиционные позиции, ухватывающие привычное формально-логическое противопоставление внешнего и внутреннего и так, кстати, позволяющие не замечать «системные сбои» в наличной социально-политической ситуации. Поиск причин российских неурядиц, конечно, приводит к обнаружению внешнего врага, всегда стремившегося уничтожить Россию. Все исторические ошибки и политические просчеты — результат некоего антироссийского заговора и подрывной деятельности продажных российских политиков. (Ленин — германский шпион, Горбачев и его окружение — английские, либо американские агенты.) Другая позиция связана с выявлением внутренних причин, не позволяющих России стать в полной мере счастливой, процветающей страной. В этом случае корень зла — негативная преемственность. Если проблемы, возникавшие в рамках советской действительности, нередко объяснялись «родимыми пятнами капитализма», то современные удобно объявить «наследием советского прошлого». Поиск «родимых пятен», а точнее «врожденных уродств» легко продолжить, углубившись и в более отдаленное прошлое, и тогда история государства российского предстает обвинительным документом. Все неразрешимые противоречия и болезненные проблемы современного общества можно объяснить особенностями национального менталитета, обусловленного и, в свою очередь, обусловившего преступную или увечную историю страны. Обе версии равно занимательны и интригующи, но в ситуации равнопредставленности в современных СМИ, ни одна из них не обрела мобилизую-

щую силу социального мифа. Более того, наличие разных, но одинаково экспрессивно, авторитетно и безапелляционно высказанных утверждений, загоняет доверчивого гражданина в безвыходную ситуацию — ситуацию, где правильный поступок невозможен в принципе. Должное и недолжное больше не подкреплено никаким историческим паттерном. Россия несчастна потому, что это по-прежнему нецивилизованная страна, так и не усвоившая ценности рынка и демократии, и, в то же время, потому, что все еще не возродила исконные ценности православия и державности. Россияне виновны в том, что восстали на власть (грех революции) и, одновременно, повинны в ее азиатском обожествлении, доверии к ней и долготерпении (отсутствие субъектности). Примеры, разумеется, можно множить и множить. Бесспорно, в наличии разных мнений, диаметрально противоположных суждений и самой возможности их открыто заявлять реализуется базовая ценность современной цивилизации — возможность личностного самоопределения и выбора. Но, как представляется, не стоит преувеличивать личностную зрелость современных россиян, на которых рассчитана массовая информация, как и объем их интеллектуального багажа, столь необходимого для взвешенного анализа полученных сведений. Это замечание ни в коей мере не возвращает к проблеме национального менталитета, можно предположить, что в этом россияне не так уж кардинально отличаются от рядовых европейцев или американцев, привыкших доверять СМИ.

Реакция человека на отсутствие внятных ориентиров, направляющих его гражданское поведение, конечно, не может быть однотипной и универсальной. Но в современном российском обществе можно заметить, в ряду других, две тенденции интересные своей, так сказать, своевременностью. Это, прежде всего, характерное для молодежи «клиповое мышление», описанное еще М. Маклюэном. Оно не натывается на противоречия, попросту не схватывает их, но не позволяет выстраивать жесткую логическую цепь причин и следствий, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим и сколько-нибудь внятно его проектировать. По-видимому, и этим тоже можно объяснить утрату исторического чувства в

мироощущении современников. Выход из логического тупика прост — не замечая его, носитель «клипового мышления» осуществляет свой выбор спонтанно и ситуативно. Вывать к гражданской позиции и ответственности за нее, в этом случае, бесполезно. Тем же, кому в силу возраста и обстоятельств чужд такой, возможно, исторически более продуктивный способ восприятия информации, отсутствие однозначных ориентиров лишь усугубляет «перестроечную травму», и результатом ее вытеснения становится полное равнодушие к вопросам и загадкам отечественной истории. Наивное убеждение некоторых журналистов, что раскрытие исторической правды, особенно если это касается современной истории страны, может действительно иметь «эффект разорвавшейся бомбы» и сподвигнет соотечественников на какие-то масштабные социальные действия вряд ли основано на хорошем знании их мироощущения.

Но для формирования положительного отношения к государству со стороны граждан, необходимы, и это вполне осознается, позитивные, сплачивающие общество, чувства. Слова современного российского гимна, словно подслушанные в американских фильмах, «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» провоцируют на суетливый поиск чего-то, чем можно было бы гордиться. А настоящее не дает повода для гордости и потому редкие спортивные победы становятся почти национальным праздником. Впрочем, и декларируемые поводы для стыда как-то мало соотносятся с тем, что можно было бы пережить посредством личного опыта.

У советского человека было героическое прошлое и светлое будущее, у современного россиянина «непредсказуемое» прошлое, а будущего попросту нет. Но призывы к модернизации для страны, которая не видит будущего, и не ждет его, даже в виде конца света, останутся всего лишь привычной риторикой, не более эффективной, чем лозунги позднего социализма.

Конечно, проблему «утраты исторического чувства» можно рассматривать и в общекультурном контексте. Традиционный человек жил перед лицом вечности, человек модерна в стремительном потоке времени, современный застрял во «всепо-

глощающей сейчайности». Пресловутый «конец истории», провозглашенный Ф. Фукуямой, перестал быть любопытной, но отвлеченной идеей. История кончилась, но осталось живое и, по определению, настоящее настоящее? В любом случае это не приведет к подлинной демифологизации сознания, а когда придет время снова переписывать историю, старые мифологемы опять наполнятся новым содержанием.

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Барт Р. Мифологии. М., 1996.
3. Вайль П., Генис А. Собрание сочинений: В 2 т. Том 1. — Екатеринбург, У-Фактория, 2004.
4. Горалик Л. «...Росагроэкспорта сырка»: Символика и символы советской эпохи в современном российском брендинге / Л. Горалик // Теория моды: Одежда. Культура. Тело.
5. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. — М., 1991.
6. Мамардашвили М.К. Мысль под запретом (Беседы с А. Эпельбуэн) // Вопросы философии, 1992, №4.
7. Элиаде М. Мифы. Сновидения. Мистерии. М., 1996. С. 31.
8. Г. Шпаликов «Долгая, счастливая жизнь» 1965 г, М. Богин «О любви» 1969 г., «Осень» А. Смирнова 1974 г.